

ПОЛЫНЬ

*Веяло горькой гарью
Ветхих еловых веток;
Пахло медовой влагой
Юной лесной листвы –
Снилась мне жизнь другая,
Может быть, лучше этой...
В комнате душно. Лягу
Снова. И снова – сны.*

«Дед мой колдун, он с бабкой в лесу живёт» – я в детстве далёком, дремучем, как самый тот лес, лепетал. Или что-то во мне лепетало. Детское, древнее-древнее.

Везде, где река отступила, тёмные стволы встали – черёмуха, водное дерево. Непролазными дикими чащами окаймила она берега – да с берёзой на пару. В щедрой тени их – лопух и крапива, вьюнок и осот: концы огородов, где буйно цветёт всякий сор. И где-то среди сора земли, на самом краю, у реки – покосившийся, хлипенький домик моих стариков. Куда бы ни шёл, ненароком туда я иду, заколдованный будто.

Серые доски забора, сырые, гнилые, замшелые. Все перемотаны леской и ветхим тряпьем. Сети, крючки, поплавки и мормышки – разноцветной гирляндой висят и качаются на ветру... Пахнет червями... Землёй!.. К дому пытаюсь пройти – калитки нигде не видать. Путаюсь в леске, режусь, лезу через забор. Рву её, рвусь – а не рвётся. Но сон обрывается здесь...

Утро. Удушливый воздух квартиры. Сухо во рту. Солоно на губах. Словно после тяжёлой и долгой болезни, встану, шатаюсь. Спросонок сшибу прикроватную тумбу. Как бусы, как мелочь – таблетки, лекарства посыплются. Кружится кружка, чуть не разбита, – кружится голова – и растекается медленно кофе, густой-прегустой. Листы-распечатки, рецепты и справки вязнут в чернеющей луже – тонут, чернея, листы... Едва ковыляя, к окну подойду босыми и липкими пятками. Сам пропотевший, стёкла протру – все в поту и разводах. А за окном – тишина. Белая-белая. Как молоко... Росистая, влажная. Манит, зовёт. И гудит, и гудит, и гудит... А я серый и мятый, как гноем пропитанный бинт. Всё брошу, уйду, растворюсь в тишине туманного утра.

Чёрный асфальт заскорюз как сукровица, но после ночного дождя подрамок и разбух. Так и охота содрать эту мёртвую корку – обнажить, разневолить живую плоть почвы. Припасть к ней, впиться сухими губами. Пинаю, толкаю, стираю подошвы – нет силы в ногах, не хватает напора. Асфальт недвижим... Но гул нарастает, всё ясней, всё отчётливей эхом гремит. Только им и ведомый, двигаюсь прочь. Захожу в перелесок.

Тропинка змеится, шурша чешуёю, и вся – полусгнившими листьями выстлана. О чём-то своём, по-змеиному мудро они шелестят под ногами. А я, сам в себе, всё молчу. Я не ведаю их языка, разделённого надвое: там, на ветках, что ветром колышима, шелестит еле слышно листва, ещё не опавшая, юная. Шелестит... Шелестя, говорит! Тихо, тихо так – шёпот живых с полушёпотом мёртвых сливается. И вновь – воедино. И, сам безголосый, я слушаю хор голосов, первобытное вещее слово. «У-у-у» – поезд протянет вдали...

Вдруг – резкий порыв ветровой. Взметнётся дорожная пыль, вскружится подножная опаль, и прелью осенней повеет. И листва – живая листва, всегда по-весеннему вечная – падает, сорвана ветром. И мутно в глазах от пыли. Мнится, должно быть, мерещится... Здесь, впотьмах моей памяти – в сумерках леса – дед вырастает...

Нос ястребиный, клювом-крючком заострённый. Скулы, что сколы на пне, пережившем удар топора. Впалые щёки во мхе бакенбардном. Лоб заморщиненный, будто бы наст земляной, осенью поздней промёрзший. Руки, а руки! Длинные, тонкие. Пальцы, что цепкие когти, когти костляво-птичье. Что корни сухие, жадные до воды. Глаза, а глаза! Змеиные,

зоркие-зоркие! Жадные до деталей, любой неприметной мелочи: крошки ли хлебные, что под клеёнку настольную вдруг позабились; рубль ли где проржавелый, оставленный в сдачу за хлеб – дед всё рукою сметёт. Прокряхтит, полусогнутый, всё соберёт – и в карман, и в карман, и в карман. Что там, в кармане, ещё? Сказки-рассказки. Фокусы-чудеса.

Весь пропахший костром, сыростью леса и речки, дед возвернётся с рыбалки. Пальцы в грязи, в чешуе... Ими так ловко снасти распутает – и на забор: просушить. Сядет на лавочку, трубку махоркой набьёт. Прошуршав по карманам, достанет, найдёт спичечный коробок. Стенки картонные мятые, в потных ладонях размокшие. Тёрка исчерчена, вся в бороздах и полосках. Краешек крышки с красною фосфорной нагарью.

Закурит. Дым коромыслом – и вьётся, и кружится, кольцами оплетая дедовы баки и бороду, седую, густую, как дым. И будто бы самые дедовы волосы – белые-белые! – вьются, вздымаются, с воздухом дымным срастаются. «Ну, напущал!» – бабушка выйдет, с крыльца поворчит и сама уплывёт, будто бы облако в белой ночнушке, обратно домой. И дед поворчит ей в ответ, кашляя и бормоча. И облако дыма растает следом за ней. А я опьянён, одурманен магией этого дыма, этим бормочущим кашлем – будто бы дед говорит с кем-то ещё, в этом дыму потаённым. «Ну-ка, – и кашель – Видал коробок?». Глазами еложу туда и сюда, как улитка рогами, – здесь же он был... Дед, хоть и стар, но быстрее меня: «Вот он! А вот он!» – и тянет ко мне жилистый сжатый кулак. И дует – и дым, заструившись, как тонкий змеиный язык, срывается с губ его. «Сейчас оживёт, ты смотри-ка, смотри...». И вдруг – оживает! Дед похихикивает, хитро так щурит глаза, что они в толще век утопают, как два поплавка на воде – прячет дед зоркость и мудрость: «Вот я тебя и поймал!». А коробочек жужжит! И трещит, и трещит, и трещит! И шевелится, чуть задевая бугристую кожу ладони...

...Вдруг шмель пролетел – и воздух, прорезанным им, у самого уха дрожит. И в ухе звенит – и волоса у виска, вторя вибрато крылатому, вздыбились и дрожат. Вздрогну и сам: отрезвлюсь – и виденье развеется. Дед коробки поменял... И шмеля в тот, подменный, загнал... Всё в дыму, им окутано, вязким, тягучим, густым – и не видно подмены. Туман...

Раннее утро. В сених так прохладно, но спать так легко. Стёкла вспотели, и сонная муха, проснувшись, бьётся о влажную гладь. А туман за окном – непроглядный, густой. За стеною, на кухне, чайник на печке свистит. Шоркают тапочки, щёлкают выключатели. Ложка звенит, металлически бьётся о грани эмалированной чашки. И молоко! Всюду запах молочный, целебный, парной.

«Ба, а где деда? – Уехал за солнцем». Вот разговор весь. Вдруг – что-то звенит, но не ложка, и катится, катится, катится. Всё ближе и ближе. Шины шуршат по дорожке лесистой – дедов велосипед, два солнечных колеса! Всхлипнет калитка. Охи, кряхтенье и кашель. И половицы присенные вздрогнут от стука сапог. Дверь заскрипит, отворится – вырастет дед на пороге. Тощий, сутулый, в безмерной робе, в больших мешковатых штанах, одни только руки торчат, как палки у пугала. «Ну-ка – и, «у» протянув, ко мне ковыляет, прячет за пазуху куль. – Ну-ка, сынок, сосчитай до пяти, глазки закрой». Я закрываю глазёнки, в мягкую, потную темноту ладоней их погружаю. Пряники, круглые, пышные, с запахом мёда и праздника. Сладкие, солнце зовущие! «Скушай – и солнышко встанет. И молочка пригуби. Дед твой колдун ведь» – и подмигнёт, обнажив два клыка, два единственных зуба... А у меня они целые, и пряники липнут к зубам, и тают во рту – и сумрак встуманненный тает:

*Истаяв под утро,
Встуманенный сумрак
Устало на землю осел.
В безветрии тихом
Рассветные блики
Увязли в алмазной росе –*

Огнём окаймлён окоём.

...Снова гремят сапоги, всхлипывает калитка. Я протираю окно рукавом, в бликах заката вижу: дед улыбается, машет прощально рукой, с последним туманом уходит в низину за домом... И лес, позади его лес шелестит, и стонут, и гнутся деревья...

В низину, тропинка сползает в низину. Как заплутал, я и сам не заметил. Подошвами щупаю грунт: глинистый грунт, плавучий – река, где-то рядом река. Сгущаются первые сумерки.

Они наступают, consumerки боготы:

Снова мы

Солнце закатное ловим глазами

С опухшими веками, с кругами бессонными.

Кажется, вовсе

Ночь не ложилась спать,

Как бесноватая, дыбилась, ёрзала

В мокрой постели росистых лугов –

И снова закат.

Предосенние ночи темны, и длинные, и туманны. И полынь, сухостойная днём, в эти ночи сыра. И горчит самый воздух, прохладный и влажный. И встуманенный сумрак гудит. Всё гудит, и гудит, и гудит: где-то там, вдалеке, запоздалый отходит поезд... А вот я всё никак не могу отойти. От прогулок ночных. От кроссовок с налипшей травой, в придорожной грязи перемаранных. От тяжёлых шагов по путейному щебню. У моста, над рекой, так легко зато: прислушаюсь к гулу, сяду – на балку железобетонную.

Шелестит, пригибаясь к воде и качаясь, осока. И высокая в небе луна, отражённая там, в глубине, и – в зрачках моих, блещет. И слова шелестят – недосказанной шёпотной речью. И слова шелестят – шелухой обветренных губ...

...Этот гул, басовитое эхо! Этот отзвук, рифмующий жизнь! Он всё ближе – и это далёкое **ГДЕ-ТО**, и эта туманная ширь, уплотняясь, сгущается **ЗДЕСЬ!** Как роса, многоцветная россыпь... И во тьме, много-многоколёсный, проносится поезд, весь – просвист, просвет мимолётный, пояс вагонных огней! И гудит, и гудит всё сильнее! Августовское небо сквозит и – исходит росой многозвёздной! И глаза пересохшие – слёзной и живительной влаги полны! И полынь – всюду запах полыни...

Но отхлынет, отхлынет... В воздухе тихо так... – Вдох – и выдох. – Вдох – и выдох. – Вдох – ...

...Задохнуться

Утренним паром рек

И дымом вечерних костров!

Наверное, это любовь –

Первобытная тяга к земле,

Из которой я вышел,

Которая плачет росой...

И воздух – стылый, густой.

Такой,

Что небо к земле

Всё ближе.

Только в самой груди моей: всё гудит, и гудит, и гудит... Я люблю этот «И». Будто он обещает всему, что ни есть, продолжение: «И сказал Бог...И свет был, И тьма...». Предосенние ночи темны...